УДК 930.1(44)

ФРАНЦУЗСКОЕ РОССИЕВЕДЕНИЕ: ТРАДИЦИИ ТОТАЛИТАРНОЙ ПАРАДИГМЫ И НОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ

Н.В. Трубникова

Томский политехнический университет
E-mail: troub@mail.ru

Автор анализирует традиции французского россиеведения, существенно изменившего траектории исследований по истории России за последние тридцать лет. От теорий тоталитаризма, через ревизию установлений социальной истории, историки все чаще прибегают к методам обновленной «социальной истории политического».

Французская историческая наука, без сомнения, сформировала одну из самых респектабельных национальных традиций историописания. Вступив на путь профессионализации своего знания на рубеже XIX–XX вв. [1. С. 67], историки Франции предопределили ряд специфичных черт, которые ярко проявят себя в методологически и сюжетно насыщенной рефлексии прошлого века. Неизменным тематическим предпочтением французов остается история Франции, вдохновившая появление множества шедевров, которые продолжают изучаться как «классические» образцы профессиональной работы историка. На этом блестящем фоне Россия вызывала небольшой, но стабильный интерес, не отразивший того динамизма приливов и отливов внимания, что характеризовали в XX веке россиеведение англоамериканского мира. В этом проявилась еще одна особенность – относительно малая политическая ангажированность деятельности историка во Франции. Так, анализируя процессы, происходящие в СССР, французские историки не адаптировали для себя самоназвание советологов [2. С. 47], реже становились под знамена «холодной войны», не отождествляли себя с представителями «тоталитарной» или «ревизионистской» школ в той степени, в какой это было характерно для США. Однако, при всей толерантности и гибкости традиции, анализ хронологии смен различных систем интерпретаций позволяет все же поместить французскую русистику в общее для Запада русло.

В центре фокуса как англоамериканского, так и французского исследований, затмевая все прочие длительности истории России, прочно утверждается советский режим. Размышления историков о нем начинается во Франции послевоенного времени с работ, которые развивают «тоталитарную» парадигму, сформулированную Ханной Арендт [3]. Можно даже расширить это суждение, сказав, что Ханна Арендт положила основу многим дискуссиям о специфике XX столетия. Так, носитель скорее антитоталитарных настроений во французской русистике, Клод Лефор, называет ее очень близким для себя автором, которая, цитирую, "вдохновляет меня задаваться вопросом, с точки зрения совершенно отличной, о том, что становится законом "в конкретике" тоталитарного универсума". Раймон Арон анализировал базовые принципы тоталитарной системы: монополию единственной партии на власть и идеологию, силовое принуждение, проникновение государства во все сферы общества до полного поглощения последнего, идеологизацию всех направлений деятельности человека и государства [4]. Этот стиль анализа возобновил Ален Безансон, нашедший ключ к пониманию системы в идеологии, которая формирует ту «логократию», иными словами, ту утопию, сопровождаемую определенным дискурсом, что оказалась в состоянии преобразовывать прошлое и создавать новую советскую действительность [5].

Параллельно, не побеждая доминирующей тенденции, анализ Клода Лефора подпитывался критическим, по отношению к опыту большевизма, марксизмом и подталкивал скорее к «феноменологическому» наблюдению за практиками социально-политической жизни. Автор изучает механизмы функционирования партии и партийной бюрократии, и в логике данного исследования именно всевластие чиновников задает разнообразные способы организации общества [6].

Марк Ферро отмечает в парадигме тоталитаризма гипертрофию политического, поскольку в ней не рассматривается момент социального укоренения и последующей поддержки режима широкими слоями населения, которые и образуют основу нового государственного аппарата [7].

Таким образом, критика тоталитарных теорий изначально была направлена против засилья в историческом исследовании политологических ракурсов и концептов, а также против пренебрежения факторами социальной, экономической и культурной истории. По мере превращения научной «тоталитарной» парадигмы в идеологию холодной войны (нельзя также забывать о значительном влиянии Коммунистической партии Франции на социальную атмосферу своей страны), оппозиция ряда историков подготавливала восприятие научным сообществом так называемого «ревизионистского поворота». Новый методологический импульс, возникший по ту сторону Атлантики, способствовал на рубеже 1970–1980-х гг. утверждению во французской русистике понятий и подходов социальной истории. Однако, опять-таки, необходима оговорка: «пересмотр» идеи тоталитаризма, как и ранее сам тоталитаризм, не стали здесь новым «крестовым походом» во имя истины. «... во Фран-

ции, если и можно говорить о «ревизии», она стала делом эмоциональным, индивидуальным, иногда экстериоризированным» [8. С. 49].

Ревизия тоталитарной конфигурации производилась по нескольким направлениям [9. С. 33–34].

Во-первых, ревизионистам представлялась неявной линия преемственности рубежа 1920-х – 1930-х гг. Эволюция эпохи В.И. Ленина к сталинскому режиму не была неизбежной и необходимой, поскольку новый стиль экономического планирования, «второе» поколение большевиков, образовавшее элиту и государственный аппарат 1930-х, изменившийся внутренний «порядок», достигаемый посредством террора, безусловно, имели свои исторические предпосылки, но не соответствовали неумолимой логике тоталитарного алгоритма.

Во-вторых, «социальные» историки стали «с фактами в руках» доказывать разрыв теории тоталитаризма с практиками советской действительности. Так, эмпирические исследования коллективизации сельского хозяйства в СССР привели ряд авторов к глубоко «антитоталитарному» убеждению в том, что руководство Коммунистической партии в 1930-х гг. было обречено на принятие данного экономического и политического решения. Перед лицом численно подавляющей крестьянской массы власть, опирающаяся на рабочий класс, была вынуждена отстаивать в подобной форме интересы последнего. Безусловно, данный вывод звучит очень категорично, но, с другой стороны, не является большей редукцией к схеме, чем сама теория тоталитаризма.

В-третьих, сомнению подвергся тип функционирования государственного аппарата и партии в СССР, характер которого демонизировался в тоталитарной парадигме, как если не совершенное, то эффективное орудие государственной твердыни зла. В реальном исполнении систему принизывали внутренние противоречия и консенсусы, импровизации, конкурентные интересы и расходящиеся концепции настоящего и будущего. Одним из первых эту норму советской действительности начал анализировать Габор Риттерспорн, убеждавший, что традиционный образ сталинского времени основан на идеологических и политических суждениях, часто эмоциональных и предвзятых, которые не могут производить иного исторического анализа, кроме поверхностного и схематичного. Свою задачу в исследовании сталинского режима он усматривал в том, чтобы изучать «в конкретном контексте исторического периода повседневное функционирование советского режима и его средств контроля над обществом» [10].

В-четвертых, ревизионисты предложили новые интерпретации сценариев и механизмов террора. В теории тоталитаризма насилие рассматривается как неотъемлемое от режима средство подавления внутренних конфликтов, подчиняющееся самой жесткой централизации и подлежащее контролю со стороны центра в каждой фазе и детали. «Социальные» историки стремились доказать, что пространство террора давало возможности для самореализации отдельным «маленьким» людям, находившим в нем средство избавления от соперников в социальном восхождении или просто вызывавших недовольство соседей, чем-то мешавших в повседневности потенциальным кляузникам.

Обнажив, не без пользы, слабые места «тоталитарной» парадигмы, «ревизионисты» позволили критикам выявить их собственные «фигуры умолчания» [11]. Можно ли инициировать новые способы изучения политических реальностей, попросту оставляя их за кадром исследования? Стоит ли объяснять усиление классовых антагонизмов в 1917 г., исследуя только рабочие движения заводов и улиц – пример конкретного выражения так называемой истории «снизу», – и игнорируя организующую роль революционной интеллигенции? Список вопросов, не принятых во внимание ревизионистами, можно продолжить.

Для «социальных» историков характерно также отсутствие внимания к культуре и дискурсу участников (акторов) истории, некогда метко охарактеризованное Мишелем Фуко как «бедная идея реального». Типичной формулой объяснения многообразного комплекса человеческих и социальных действий является, например, фраза: «национализм в Российской империи был формой, которая стала выражением нерешенных экономических и социальных проблем». В данном русле исследований существует определенное затруднение и с выявлением причинно-следственных зависимостей. Так, рассуждая о периоде гражданской войны, ревизионисты склонны рассматривать политику «военного коммунизма» как простую результирующую «социальных обстоятельств», упуская из виду, что трудные «обстоятельства» этой эпохи, в которых оказалось советское руководство, сами по себе были в большинстве случаев результатом, часто неожиданным, тех решений, что были приняты революционной властью.

Новым решающим этапом, который можно определить, для французской, и для западной русистики в целом, как момент «ревизии ревизионизма», оказался рубеж 1980–1990-х гг. Его символическим обозначением стал стремительный, почти мистический для западного общественного сознания, распад Советского Союза, который не был предсказан историками, и не помещался в обозначенные ими социальные параметры. В этих условиях русистика 1990-х оживляет политическую историю, тоталитарные концептуализации возвращаются, изданием нескольких ярких монографий, обретая «второе дыхание».

Однако эволюция норм французского исследования России оказалась двойной, и даже разнонаправленной. К середине 1990-х гг. крах глобальных объясняющих моделей, нормальным следствием которого стало бесконечное дробление методов и подходов, совпал по времени с открытием целого ряда российских архивов, усилив тенденцию «возвращения к источнику», и без того прочно утвердившуюся во французской исторической науке на

излете XX века. Возрождение почти позитивистской веры в самоценность документа, отсутствие у социальных историков выраженных средств концептуализации, сопровождалось в науках о человеке усилением вкуса к сфере культурного. Для исследователей 1990-х гг. теоретической основой изысканий по истории СССР часто служат произведения корифеев эпистемологической рефлексии последних десятилетий – П. Бурдье, Ж. Дерриды, М. Фуко и ряда других.

Так, возвращая проблематику власти, «новые» социальные историки исследуют практики распределения благ в «экономике бедных», проясняя взаимосвязь «патрон-клиент» и образование каналов «блата», свидетельствующих о решающей роли персональных связей в сталинской культуре.

Делается акцент на изучении парадоксального, для интернационалистской фразеологии большевизма, этнического обособления советских людей усилиями самого государства-партии, приписавшего каждому гражданину определенную национальность. Тем самым власть культивировала национальные идентичности и закладывала основу для политики «позитивной дискриминации» в СССР.

Особым направлением являются исследования компромиссов, которые всегда пронизывают политическую организацию общества, между интересами отдельных малых групп (личностей) и учреждений, представляющих коллективные формы социума и государства. Концептуализации Фуко позволяют анализировать механизмы создания персональных идентичностей, внутреннего усвоения людьми тех импульсов, которые приходят из социальной среды. Тем самым, в фокус исторического анализа попадает «живой» сталинизм. Перспектива социальной истории фиксирует прежде всего очевидные меркантильные интересы – ценности карьеры, материальной выгоды, чтобы объяснить процессы «включения» личности в общественную систему. Указанный подход, заостряя проблему индивидуального сознания, задается, скорее, связями между социально-экономической структурой и личным действием. Последнее, как известно, не может объясняться исключительно рациональными и поддающимися типологиям массового общества критериями.

В целом, сохраняя отличительные черты общей для исторической науки парадигматической неопределенности, французская русистика тяготеет к двум методологическим полюсам: теории тоталитаризма и обновленной социальной истории, стремящейся к более тонкому и разностороннему пониманию исторических реальностей СССР.

Преобладающей практикой современной французской русистики является умеренная концептуализация, исследующая «сталинизм без Сталина», в которой подавляется политический контекст, затушеваны репрессивные действия советского государства, и одновременно акцентируется социальное – сфера, в которой действуют, осуществляя свой выбор и волю, живые люди, а не пассивные безликие жертвы режима. Также, в рамках социальной истории политического, выявляются способы легитимации власти и компромиссы между существующими способами принуждения и восприятием этих норм населением страны [12].

Однако сохраняются и сложившиеся ранее методологические альтернативы. На основе теорий тоталитаризма продолжается сравнение фашистского и советского политических режимов [13], доказывается идейно-утопический характер советского государства [14]. «Черная книга коммунизма» [15], очень пафосная и моралистичная по духу, заклеймила криминальный характер тоталитарной коммунистической государственности без учета прочих характеристик советской действительности, чем и спровоцировала «ответ», которым стала книга «Век коммунизмов» [16], со стороны социально ориентированных историков.

В целом, характер ведущихся дискуссий и текущие публикации позволяют судить о здоровом и напряженном тонусе французского россиеведения. В нем остро ощущается потребность в серьезных, далеких от очевидных ценностных предпочтений, исследованиях, помещающих историческую проблему в широкий социальный контекст, несводимый ни к одной из глобальных схем интерпретаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Delacroix Ch., Dosse F., Garcia P. Les courants historiques en France. 19-e–20-e siècles. – Paris: Armand Colin, 1998.
2. Dulin S. Les interprétations françaises du système soviètuque, dans Le siècle des communismes. – Paris: Les Éditions de l'Atélier, 2000.
3. Lefort C. La complication. Rétour sur le communisme. – Paris: Fayard, 1999. – P. 17.
4. Aron R. Démocratie et totalitarisme. – Paris, Gallimard, 1965.
5. Besançon A. Le malheur du siècle. Sur le communisme, le nazisme et l'unicité de la Shoah. – Paris: Fayard, 1998.
6. Lefort C. La complication. Rétour sur le communisme. – Paris: Fayard, 1999.
7. Ferro M. La révolution de 1917. – Paris: Albin Michel, 2 Vol., 1997.
8. Dulin S. Les interprétations françaises du systeme soviétique ...
9. Studer B. Totalitarisme et stalinisme, dans Le siècle des communismes. – Paris: Les Éditions de l'Atélier, 2000.
10. Rittersporn G.T. Simplifications staliniennes et complications soviètiques (Tensions sociales et conflits politiques en U.R.S.S. (1933–1953). – Paris: Éditions des archives contemporaines, 1988.
11. Pouvoirs et société en Union soviètique. – Paris: Les Éditions de l'Atélier, 2002.
12. Pouvoirs et société en Union Soviètique. – Paris: Les Éditions Ouvrièrs, 2000. См. также тематику статей и дискуссий в Cahiers du Monde Russe, 1996–2000.
13. Ferro M. Nazisme et communisme. Deux regimes dans le siècle. – Paris: Hachette Litterature, 1999.
14. Furet F. Le Passé d'une illusion. Éssai sur l'idée communiste au XXe siècle. – Paris: Robert Laffont, 1995.
15. Le livre noire du communisme. Crimes, terreur, représsion. – Paris: Éd. Robert Laffont, S.A., 1998.
16. Le siècle des communismes. – Paris: Les Éditions Ouvrières, 2000.